



## Геннадий АЙГИ

### Листки — в ветер праздника (к столетию Велимира Хлебникова)

В языке человек начинает участвовать младенческим лепетом. Есть ли это — в поэзии?

Есть, — у Велимира Хлебникова.

В стихотворении «Море», великолепном почти по-пушкински (и «классическом» в том же смысле), вдруг слышим: «Судну ва-ва, море бяка, море сделало бо-бо».

Вспомнив это «бо-бо», я перелистал упомянутое стихотворение. «Детских моментов» там столько, что эта маленькая поэма кажется явно созданной по «инфантильному методу» (приведу еще строки: «Волны скачут а ца-ца!»; «Море, море, но-но-но!»; «Море плачет, море вакает»).

Множество детских междометий (горячих, — будто только что сорвавшихся с еще неподчиняющихся губ ребенка) рассыпано по стихотворениям и поэмам Хлебникова.

В самой серьезной ситуации, Хлебников, в синтаксическом отношении, вдруг выражается с поразительной детской «неправильностью»: «В пеший полк 93-ий Я погиб, как гибнут дети» (этот пример, по другому поводу, приводил в свое время Роман Якобсон). Очертания его образов напоминают иногда прямоthu детских рисунков: «А мост царапал ногтем Пехотинца, бегущего в сторону», — это странно, по-настоящему странно: и грандиозно, и инфантильно — одним единым мазком.

Разговор о «языке возрастов» (или «возрастном языке») у Хлебникова можно длить «до бесконечности» — через его поэзию. Вот, — поэма «Журавль», изумляющая обилием вселенски-грохочущих образов (ими грохочет некое гигантское Единство города и неба над ним). Образы эти откровенно-неуклюжи, — в них есть что-то от «механики» слишком логических, выпирающе-угловатых рассуждений подростка из одноименного романа Достоевского; короче, «подростковая неуклюжесть» — один из поэтических приемов Хлебникова.

Для определения того или иного творчества стоит применить понятие о языковом поведении автора. Разнообразие словесных приемов у большинства писателей заключено внутри одного и того же характерного для них языка. В отношении Хлебникова можно говорить и о множестве его языковых поведений. Суровый клич воина-властелина легко переходит в его стихотворении «Трущобы» в менуэтное звучание, архаичный слог мудрого барда («Олень, олень, зачем он тяжко В рогах глагол любви несет?») прерывается детски-беззащитным восклицанием («Оленю нету, нет спасенья»; «нету, нет», — это ведь как инфантильный крик пушкинского Юродивого из «Годунова»: «А у меня копеечка есть»).

#### *Костер как восклицанье Хлебникова*

В хлебниковскую эпоху русская поэзия перестала быть элитарной (я имею в виду не ее доступность «для кого угодно», а программный подход к ней новых ее мастеров). Более того, — была отменена ранговость поэтического слова внутри отдельно-взятых творений-систем; чувство «освобожденности» слова не отменило слух, оставшийся безупречным в новом «демократическом качестве» (в отличие от полной потери какого-либо слуха в словесном прислужничестве, установившемся к концу тридцатых годов).

Сказанному не противоречит вычленение Хлебниковым в поэзии «звездного языка», «языка богов», «безумного языка» и так далее (сохранилась черновая запись поэта с перечислением языковых слов, которыми он пользуется, — перечислено 20 «языков»; правда, в этой классификации была и изрядная доля стихийно-поэтического иллюзионизма).

Хлебникову, придававшему языку космический смысл, действительно приходилось, насколько это было возможно, «освобождать» слово от его «земной коммуникативности», эффект этой «освобожденности» достигался, не отменяя логосную основу слова, но вызывая его излучение непривычным, галлюцинирующим светом. Для общей направленности дела Хлебникову годилось «все» (как в «философии общего дела» Николая Федорова).

Это «все», со временем, будет исследовано лингвистами. Все же, взявшись за эти «праздничные листки», я набросал скороспелый перечень некоторых русско-авангардистских «открытий» из «периодического закона элементов» поэтики, — из этой своеобразной «менделеевско-хлебниковской таблицы».

Что сделал Хлебников раньше того или другого? «Визуальная поэзия» началась с «Каллиграмм» Аполлинера 1914 года и «железобетонных поэм» Василия Каменского того же года, но сохранился черновик хлебниковского манифеста «Буква как таковая» 1913 года, где есть уже и «леттризм», и предвидение «визуальной поэзии»,

а в 1915 году Хлебников создал несохранившуюся «поэму цифр»; «предметная поэзия» началась в 1913 году с крученыховской «Заумной гниги», к первому экземпляру которой была пришита пуговица от штанов автора (что ж, упомянем и эту «дюшанистскую» пуговицу); в 1915 году В. Каменский выставил две «стихокартины»; «эмоциональная», «служебная» заумь впервые возникла в одном из стихотворений Елены Гуро приблизительно 1911 года, началом же чисто-заумной поэзии, «автономной зауми» был 1913 год: первые настоящие заумные вещи были созданы, независимо друг от друга, Алексеем Крученых и эго-футуристом Василиском Гнедовым... Последний, имя которого известно сейчас только некоторым литературным исследователям, был уникальная личность. Он — первый представитель русского «анти-искусства»: его «Поэма конца» представляет собой белую страницу, поэма читалась при публике: дирижировалась. Мне удалось увидеть Гнедова в 1965 году в Государственном Музее В. В. Маяковского на вечере, посвященном 80-летию со дня рождения В. Хлебникова. Во время своего выступления, говоря о Маяковском, Гнедов несколько раз назвал его «Володей», в зале послышались смешки, и тогда этот коренастый, крепкий малороссиянин с каким-то «всесобирательным» крестьянским лицом, бывший лагерник с семнадцатилетним «стажем» вдруг гаркнул: «Не вам прерывать меня смешками! Я перекрывал самого Маяковского, когда выступал вместе с ним!» (Отмечу, к слову, что Хлебников цитирует Гнедова в одной из своих поэм).

Как видим, в этом перечислении некоторых поэтических «открытий» и «начал» встречаются разные имена. А импульсирующим первоначалом их поисков был Велимир Хлебников — его катализирующая личность, всюду реявший «дух Хлебникова», его прижизненная легендарность.

И не только. Было важнейшее начало всех начал — хлебниковское словотворчество.

Как, иногда, хочется поэту не говорить неотменимым словом-логосом, а зазвучать! — зазвучать некоею «самою» красотой прекрасного! — как в музыке. Хлебниковское «словотворчество» — первый прорыв в сторону того «абсолюта красоты», который не перестает требовать от поэта почти сверхчеловеческих усилий, «абсолют» остается недостижимым, но поэзия накаляется именно в силу этой — все более явной — недостижимости.

И здесь следует отметить, что первое произведение Хлебникова, прозаическое «Искушение грешника», положившее начало корневому словотворчеству, было напечатано в октябре 1908 года, за четыре месяца до опубликования первого литературного манифеста Маринетти.

синью души велимировой  
режут младенчески-чистые  
звуком безвинным «дорози»

это и голос ребенка и мудрый  
крестьянина взгляд! — и дороги  
в Поле-России едином  
в одном собираясь одним и расходятся:  
обликом где-то давно велимировым!  
я тоже немного лицо! временами  
будто — из боли почти уже мусоргской!  
и режут — как лечат — тоску по молчащим полям  
в дорогах лица наклоненного — в эту минуту  
синью подспудной — «дорози»

Поиски, надежды и достижения века, его иллюзии и духовные крушения, на мой взгляд, выразились в личности и творчестве Велимира Хлебникова не истинностью в философском и теологическом смысле, а верностью проявления поэтической стихии: обширная работа по вызволению этой стихии заставила заработать язык как «вселенную» — от расщепления «атомов» слова до мыслительного «упорядочивания» слов-звезд, — как сказал бы сам поэт.

Если бы творчество Хлебникова очерчивалось только кругом русского «поэтического авангарда», мы имели бы дело, в основном, лишь с «дюшаноподобными» акциями, смысл которых — в мгновенно самоисчерпывающейся однократности, — без дальнейшего развития, или — с псевдоразвитием.

Татарские набеги «авангарда» на неизведанные «поэтические земли» даже за один 1913 год были совершены — на сто лет «вперед». Ставились «вехи» за «вехами», одно «открытие» в поэтике следовало за другим, — все более дерзостное, все резче закинутое в некую даль — некоего «будущего». «Вехи» оставались отмеченными на огромной карте Поэтики, а само пространство оставалось «необработанным», неукрепленным, — оно просто пустовало, во многом пустоует — и донныне.

Теперь с этими «землями» имеем дело мы, и труд наш — заведомо неблагодарный. Это — заполнять, — упорно, терпеливо, «бессенсационно», — территории, пройденные «авангардистами» воинственным маршем, без старо-душевной трудовой заботы об их «земном» состоянии. Заполнять — духовным содержанием (не жить же одними «вехами», — надо жить — самой землей, плодоносит ли она сегодня или нет).

Дело обстояло бы только так (а для нас, отвечающих уже за современность, оно, во многом, именно так и обстоит), если бы не было Казимира Малевича, если бы нам не досталось наследие Хлебникова с его огромным содержанием — и «объективно-предметным» в его историчности, и небывало-полифоничным в силу «трансформирования» множества сфер и закоулков «лингвистического языка» в новые

поэтические средства (здесь и воскрешение «всеславянской архаики», и алхимическая переплавка «ячеек» слов), — с широкой амплитудой их применения при одновременной их многослойности (прежде всего, я имею в виду обширный свод его эпических поэм).

Здесь, разумеется, надо упомянуть и Маяковского. Но это — «особый разговор» (сложная сопряженность его поэтики с кубофутуристическим «авангардом» требует обновленного подхода, — дело в том, что трагическая поэзия Маяковского, в современном ее восприятии, кажется все более тяготеющей к основному руслу русской нравственно-исповедальной классической лирики).

раненный хлебниковскими «сонными пулями»  
вздрагиваю — будто просматриваясь  
из углов — создаваемых самотолчками  
оползней сна! — озаряясь  
белизной — прерываемой множеством  
душеподобий из глубы забвенья  
зорких — без лиц

Однако сегодня, в связи с Хлебниковым, более чем с кем-либо, приходится говорить не только о поэзии.

Этот разговор — сегодняшняя наша необходимость, и, говоря прямо, мне неважно, какими «немасштабными» будут моменты этого разговора в связи с таким крупным явлением, как Хлебников.

«Велимир был гениальным поэтом, но ему этого было мало, он захотел стать еще и пророком», — сказал мне как-то Алексей Крученых.

Это, конечно, было так. Но у пророчеств есть одна особенность: они, на Земле, бывают — насколько нам известно — лишь отрицательными, — предупредительными. «Положительные пророчества» приятны, — до тех пор, пока мы не догадываемся, до какой степени они связаны с самокультом человечества (который, если вдуматься, приятен не более, чем самокульт отдельной личности).

Социальными утопиями человечество живет, кажется, всего лишь последние полтысячи лет. Так что нельзя, очевидно, твердо утверждать, что утопизм — вечная болезнь человечества, присущая ему раз и навсегда.

Многие идеи хлебниковской эпохи, прежде всего — «футурологические, социально-провиденческие», отошли в прошлое. Даже те «предвидения» Хлебникова, которые исполнились, свидетельствуют, на мой взгляд, лишь о начале конца всяческих утопий (хотя не поторопимся с таким категорическим заявлением, мы у Господа — весьма упорное человечество).

«Мы желаем звездам тыкать», теперь это воспринимается лишь как «поэтическая оригинальность». Звезды продолжают оставаться

«тютчевскими»: в ответ нам, они не желают ни «тыкать», ни «выкать», — они, может быть, «желают» лишь одного — чтобы их оставили в покое.

Болезнью новой — вселенской — утопии переболел в свое время Андрей Платонов (Хлебникову не дано было пройти путь этой «болезни» до конца).

Когда в Платонове, в силу «условий человеческого существования», треснула ось его личности, треснула, как кость, он стал человеком «как все», — как те же «униженные и оскорбленные». В философском смысле, он стал экзистенциальным сочувственником весьма «простых», то есть очень «просто» страдающих людей (у человека болит почка, это надо понять, это бывает поважнее «космических» проблем, а еще бывает, что у человека болит «душа», весьма «реально», — болит, как печень).

«Космические» иллюзии и «космические» страдания в одном отношении не прошли для Платонова даром, — в «отношение слов» писателя вошло нечто, небывалое до сих пор в русском слоге, — слова его запахло неопределимой «вселенскостью», в которой — новая, «расширенная» боль «экзистенции».

а звезды  
там  
чисты (и вечными будут  
если  
Время отменится) чисты  
бесчисленны и одиноки — и это  
глаза Велимира  
Последнего  
Первого

«А между тем» (это выражение — из блестящего фрагмента хлебниковской прозы) — а между тем, на Земле произошло только одно человеческое открытие. Американский историк, сын немецкого Романиста, опроверг выражение «звериная жестокость людей», сказав: «человеческая жестокость людей».

Есть поразительный клочок бумаги с рисунками Хлебникова — с «домами будущего». Действительно, почти «детальное» предвидение. Эти дома кое-где уже построены. Появилось и новое название — «умные здания».

Дом-цветок. «Ум» в этом доме — слух. Занят подслушиванием того, как я одалживаю трешку — для «жизни». Удобства и великолепие этих «домов будущего» каким-то самым прямым, «закономерным образом», связаны с обеднением того, что называем «душами».

Прошу прощения за то, что в разговоре о крупном явлении и явлениях упоминаю ничтожную бытовую мелочь. Но эта мелочь — состав-

ная часть сегодняшнего мерил человека, а само мерило — терпение и выдержка человека — находится между громадами бесформенных человеческих мечтаний и реального отчаяния.

Все содержание классической книги французского ученого Алексиса Карреля «Человек, этот неизвестный» сводится к следующему: человечество, за всю свою историю, больше занималось исследованием окружающего мира, чем изучением самого себя.

Мы пребываем в поистине «новом времени», противоположном (по опыту и умственным направленностям) хлебниковской эпохе.

«Не прожектировать, а претерпевать», — так я выразил бы эту противоположность. Претерпевать, — понять подлинную меру человека, она не мала, она просто — другая... — как это определить?.. — может быть, не забывая свою смертность и слабость, человек должен учиться сознать мир, как нечто ему принадлежащее в том смысле, что этому миру-вселенной тоже — больно и «смертно», что уважение к нему дано человеку как выражение обще-единой боли, — в этой общей судьбе, даже за любой смертностью, сохраняется человеческая ответственность перед тем, что существует «внеантропологически», — ответственность — без стремления корезить его по-своему.

Немного — насчет «корезить — не корезить». До того ли сейчас, чтобы уважать «звезды», «мир» — как свою «боль», как сломанную (как я) «ветку»?

Вот — вариант еще одного будущего утопизма. Некая «пост-экологическая вера» (некий мерещущийся «священный страх и трепет» перед той же «веткой»: тронешь просто так — и «непоправимое» станет еще более «непоправимым», уже «окончательным»).

Не веря в это, я хочу, все же, снова повторить свою мысль о том, как помещается человек в мире, как он пребывает — в нем; это можно выразить еще следующим образом: «Мне больно, как больно миру», между этими болями есть связь — без различения огромного и малого, ибо боль не мерится как нечто «большее» или «меньшее»; эта сострадательно-неотменимая связь и есть сущность человека, короче, то, «в качестве» чего он пребывает, «держится», — кажется, ему не гарантирован даже какой-либо «конец», — быть может, даже и желаемый им.

«срубы я ставил» ты сам говорил  
о стихотворные  
срубы из бревен метафор сияюще-твердых  
со звоном просторно-природным  
как воздух — во время страды!  
чистое «рабочее» дерево  
более чем девяносто процентное  
в котором трухи обязательных «поэтизмов»  
нет — как роскоши нет  
в хозяйстве крестьянском

Десятки раз перечитывал я поэму Хлебникова «Три сестры». Описания этих «трех сестер» там таковы, словно реальность непрерывно прорезывается «ясновидящими» линиями, приоткрывая нечто, стоящее за природой, за умственными «субстанциями» людей, за всем «видимым и воспринимаемым».

«Я ж — божий», — как-то обронил поэт «жалобную» фразу. Какого же «бога» он «божий»? — ответа на этот вопрос вы нигде не найдете у Хлебникова.

При явной мистической одаренности, Хлебников сильно тяготеет к тому виду религиозности, который стал определяться именно в его время. Известная абстрактная вера, выживающая из века в век, сложилась в его эпоху в систему некой «религии ученых», — это уже что-то поновее, чем обычный «деизм». Существование силы, превышающей разум (при этом, несомненно, «неличной»), здесь уже доказывается не просто «просвещенным разумом», а «научным умом», — какая, можно сказать, новая свобода и новая ясность! — рационалистическая религия — в весьма нерациональном мире.

Мне не хотелось бы вдаваться тут в подробности (наше время мне вообще кажется временем для примитивных утверждений). Скажу только, что во всеобщем человечестве, торжественно шествующем «под знаменем Лобачевского» по «пространству Циолковского», мне снова видится не торжествующий, а «страдающий просто» человек (то религиозное в Хлебникове, которое связано у него с научными восторгами, я тоже воспринимаю как «поэтическое великолепие»).

Этот «простой человек» не только «имеет право» верить в личностное проявление силы, которую он чувствует «высшей». В своем уважении к существующему миру, — к творению, — он единолично отвечает перед этим «высоко-личностным».

Это — не абстракция, не анахронизм, не «возвращение назад». Верность слов-заповедей, — назовем их «вифлеемскими», — продолжает доказываться сегодня, минусоидным образом, самим нашим миром, со всеми его «энтропически» — перерождающимися сферами, зараженными саморазрушением.

В вопросе, которого я коснулся, по существу нет даже спора. Просто есть непонимание: одни не верят в то, во что верят другие (или — то же самое: не верящие в одно, верят в другое).

«Малых сих» Хлебников не искушал, он был искушаем — сам (да был ли еще такой искушающий век? — само человечество раскололось в «воплощении идеи в слове», и нет иной человеческой реальности, кроме этого «воплощения»). Думаю, что сейчас уже — не вина поэта, если кто-то продолжает искушаться в нем теми его «благими намерениями», которые пережили себя, которые пережила его блестящая поэзия.

В гении Хлебникова есть одно качество, — может быть, самое главное в нем.

Звук его поэзии иногда кажется почти «по-младенчески» чистым. Упоминал я уже и о его «подростковой» неуклюжести. Да, часто он — неуклюж, — как Дон Кихот. Но Дон Кихот, сам себя сознающий, — с какой-то глубинной, таинственной мудростью. Вдруг блеснет испытующий взгляд: «А, так вы и среагируете, но подождите у меня, не то еще будет». После грозного каскада суровой отповеди современникам («Русские десять лет побивали меня камнями»), снова — почти детский голос: «Я ж — божий».

Постоянно — «Бабушка надвое сказала».

И, о чем бы я здесь ни говорил, его образ из всего выходит чистым, поистине безвинно-чистым, это я подчеркиваю — с полной убежденностью.

Надеюсь, что иных поклонников Хлебникова не покоробит эта «донкихотская» тема. Неисповедимы пути духовных побед, — иногда они могут оказаться совсем не там, где мы их ожидали; поэтические подвиги Хлебникова такие, которые можно было совершать, лишь бросаясь очертя голову в самые «безрассудные» схватки со словом.

«Бабушка надвое сказала», — но Хлебников сказал и «надесятеро». Даже его «донкихотство», в конце концов, тонет во всеохватывающем гуле его эпических творений, и есть в этом гуле что-то и кинематографическое, но не достигнутое до сих пор ни одним кинотворением, слышится в нем и некий до-шенберговский еще «Моисей и Арон» с таким «включением», что — в упомянутом единстве — кажется только началом звучания бесконечно-широкого величия, имя которому — поэзия Хлебникова в будущем ее раскрытии.

а светится душа голубоглазая  
из сети призрачных «законов времени»  
и все яснее лик: все ближе и прозрачней  
любивший колос как ребенка

В вихрь праздника затягивает эти листки; все закружилось — от Земли до Неба, закружилась, возможно, и Вселенная. Все перепуталось: тонкие прозрения ума («Велимир — не заумник, а умник», — говаривал Казимир Малевич), свет от крошащихся костей, далекие крики проповедников разума и безрассудства, свет ослепительных корней слов, «сестры-молнии» пифических метафор, «замирные» знамена-пространства, — все переливается радужными кругами и бликами бесконечного океана Поэзии.

раненный хлебниковскими «сонными пулями»  
договариваю — вздрагивая

окраинами и разрушенными центрами  
видящего сна и не видящего  
сна-расползаясь-меня  
а операция — разбудить  
29-го в 9  
утра московско-окраинного

